

Игорь Шестков "Галактика"

МЕДАЛЬОН

Лет пять назад, на Рождество, моя подруга подарила мне ручку с золотым пером. Ватерман, Париж. Модель — «Галактика». Черная благородная пластмасса с латунными колечками вокруг животика. Кончик пера — иридиевый.

С этим Ватерманом я продельваю эксперименты. Отключаю самоконтроль и самоцензуру, активирую, насколько могу, сознание и позволяю руке свободно писать текст черными чернилами на больших атласных листах. Пишу не торопясь, строку за строкой. Берегу перышко.

Иногда выходит что-то странное. Как будто и не мое.

...

Посмотри в старом сундуке, — язвительно прошептала графиня, неловко стягивая розовыми нервными пальцами расстегнутый наполовину корсет, — посмотри, посмотри! Это там, там! Как я несчастна!

Что может быть в этом сундуке? — спросил смущенный граф, — кажется, его не открывали с того самого времени, когда мы поделили наследство старика Кейна. Он брезгливо стряхнул с сундука пыль и, немного повозившись с ржавым замком, сбил его нетерпеливым ударом сапога и приподнял тяжелую крышку из кованого позеленевшего металла с изображением улыбающегося Пана, обнимающего смазливую козочку. Увидев лежащую в сундуке женщину в красном платье, граф сверкнул глазами, недовольно хмыкнул, дернул усом и невозмутимо провозгласил: Приветствую, вас, контесса.

Женщина в красном ловко выскочила из сундука, поправила растрепавшиеся льняные локоны и презрительно отрезала: Вы непроходимый идиот, граф! Это ловушка. Сейчас вас продырявят!

В руках у графини блеснул жирным желтым перламутром маленький пистолет. Раздался выстрел. Потом еще один. Графиня хотела убить двоих.

Граф упал, обливаясь кровью, женщина в красном пропала, сундук с грохотом захлопнулся.

Пуля попала графу в горло. Вторая засела в гобелене с изображением Леды и

лебедя по мотивам картины Понтормо. Прямо в разбитом яйце.

Бледная как смерть графиня пошла звонить в полицию, зашнуровывая на ходу корсет трясущимися руками. По дороге к телефону, стоящему на ломберном столике в библиотеке, она споткнулась и упала на лежащую рядом со статуей средневекового рыцаря, усеянную длинными острыми шипами, булаву. Один из шипов проткнул ей грудь. Другой — печень.

Когда она затихла, рядом с ней появилась женщина в красном.

Она сорвала с тонкой шеи мертвой графини серебряный медальон, открыла его и истерично захохотала, глядя на выпрыгнувшего из него изумрудного лягушонка.

Х У М Е Н Т А Ш И

Алексей Юрьевич не любил своей комнаты в санатории. Несмотря на уют, несмотря на огромное окно, балкон, книжную полку и телевизор. После инфаркта он почти не читал — путались строчки перед глазами, путались и мысли, протестующие против диктата чужих слов. И телевизор не смотрел — не мог понять о чем они говорят, эти новые для него люди.

Чего они все хотят? Неужели они надеются на то, что тысячелетнее холуйство может в один прекрасный момент взять и кончиться? Жили-жили в темном царстве, а потом хоп... и вышли в свет.

Алексей Юрьевич боялся, что все эти перестроечные разговоры — только блеф, прикрытие, а на самом деле они пытаются выпытать из него что-то тайное, постыдное, страшное...

Не скажу, не скажу, твердил он про себя невидимым собеседникам. Не узнаете, скоты, ничего вы не добьетесь, хоть все зубы выбейте.

Зубы ему выбил в пятьдесят втором, на допросе по делу врачей кровавый карлик Рюмин. С тех пор Алексей Юрьевич жевал вставной челюстью.

И окно тоже пугало его, из него открывался вид на санаторский морг — приземистое здание с высокой квадратной трубой. Алексей Юрьевич был не настолько стар, чтобы не понимать, что за фиолетовый дымок вьется над ней. Здание это было чем-то похоже на Рюмина. Алексею Юрьевичу казалось, что

оно как и Рюмин смотрит на него мертвыми глазами, недобро скалится и пускает дым из папиросы.

При первой возможности он шел на улицу, на воздух — к соснам, осинам и кленам, к стальному подмосковному небу, к невысокому солнцу. Убегал по асфальтированным дорожкам подальше от своего корпуса, и ходил, ходил упрямо, чертил своим телом полукилометровые периметры, заполнял собой пустоту санаторского парка.

Порывы холодного ноябрьского ветра освежали его, он жадно дышал, сопел. Тающие на его старом морщинистом лице и стекающие на подбородок холодными капельками снежинки охлаждали его воспаленную, плохо выбритую кожу, приносили облегчение, напоминали почему-то о море. Не о том, сером, балтийском, которое он много раз наблюдал во время отдыха в Юрмале со своей секретаршей Гуной, объедавшей взбитыми сливками, а о другом, великом, вселенском, по сравнению с которым и все земные моря и океаны и даже сам потрясающий Млечный Путь — только капелька слизи, принимающем в себя все тленное, в которое, пеплом и дымом, должен был вскоре влиться и он.

Алексей Юрьевич представлял себе увенчанные белоснежной пеной громадные голубые волны вечности, колеблющие трон Всевышнего и вздыхал. Бедняжка Гуна, младшая его на двадцать три года, умерла, не дожив до пятидесяти, от рака груди. Как он любил ее! На ее сорокалетие он подарил ей роскошное платиновое платье из итальянской чесучи... Где оно теперь?

Ждет ли она меня там? — спрашивал Алексей Юрьевич сам себя и сам отвечал себе: Нет, никого там нет. Ни живых, ни мертвых, только волны и пена, похожая на грязную овечью шерсть.

Он чувствовал, этот, третий по счету, инфаркт не убьет его. Значит, есть еще немного времени. Нет, не пожить. Хватит, пожил. Восемьдесят семь лет.

Вспомнить.

И он ходил и вспоминал.

Свою родину — дореволюционный Могилев, ажурный мост через Днепр, тонущую в грязи пароходную пристань, дедовскую квартиру на углу Дворянской и Садовой, он помнил смутно.

Помнил только маму, готовящую хументаши с ушками и отца, сидящего в высоком черном кресле и читающего Тору...

З А Д Е Р Ж К А

Престарелый отец Вероники, Николай Петрович Кротов скончался в пятницу вечером в больнице святой Евфимии Растерзанной. Накануне, в четверг, Кротов неожиданно для самого себя оступился и упал — без причины и на ровном месте — в своей комнате, сильно ударился головой о громадный черный телевизор, стоящий на столе у окна, из которого были хорошо видны покрытый рядами виноградников конусообразный холм, лес, поле для гольфа и продуктовый магазин, и потерял сознание. Вероника еще не пришла с работы, а ухаживающая за Кротовым медсестра Жизель, отработавшая у него положенные два часа, за пять минут до этого покинула квартиру и как раз устраивалась в этот момент поудобнее за рулем своего компактного Пежо, похожего на физиономию улыбающегося японца.

Грохот от удара она услышала, нашла глазами окна этого «неприятного русского старика» на втором этаже, решила подняться и проверить, все ли в порядке, но отвлеклась — ее мобильник проиграл электронной балалайкой первые такты песни Битлз «Лемон три». После этого Жизель долго читала длинное SMS-сообщение ее дружка, наглеца, бездельника и фанфарона Сильвио, в котором тот описывал, как и как долго он будет любить ее этим зимним вечером и что они будут есть, пить и нюхать до, во время и после сношения.

Закончив смаковать этот соблазнительный текст, Жизель — в легком дурмане от предвкушения любовных утех — села за руль и газанула, начисто забыв о несчастном Кротове. Ехать ей надо было далеко — полчаса по автобану до Мюнхена, а затем еще километров пятнадцать на юг.

Так что помочь Николаю Петровичу было некому. Вероника нашла отца через час после его падения, на полу, рядом с кроватью. Голова Кротова еще кровоточила, тело было скрючено, страшные костлявые старческие руки с

длинными белесыми ногтями конвульсивно подрагивали, лицо стало похоже на студень.

В голове у Вероники прозвенел ледяной колокольчик — это конец!

У нее закружилась голова, ноги подкосились. Вероника присела на корточки рядом с отцом и закрыла глаза. Потом не выдержала и повалилась на него. Ее нос уткнулся в его тощий живот. Она почувствовала знакомый с детства запах. Села на пол. Похлопала себя по щекам. Три раза, как ее учила преподавательница-йогиня, глубоко вдохнула открытым ртом и выдохнула через нос. Встала, постанывая и подвывая, и вызвала скорую помощь. Бравые двухметровые ребята-пожарники приехали через пятнадцать минут. Они были в касках, но с медицинскими чемоданчиками в руках. Главный пожарник тут же ввел в вену Кротову какое-то лекарство, старика положили на носилки и без труда унесли в красную машину.

Вероника поехала с ними. В больнице Кротова сразу же увезли в реанимационное отделение, а Веронику отправили домой. Вызвали ей такси. Дома Вероника приняла душ и включила телевизор. Наугад. На канале «Классика» передавали «Психо» Хичкока. Одетый в женское платье Энтони Перкинс, в парике, колот моющуюся в душе воровку Джанет Ли столовым ножом. Вероника была настолько погружена в себя, что не поняла, ни что за фильм показывают, ни кто кого убивает. Она тупо смотрела на широкий экран, видела, как серые женские пальцы скребут по кафельной плитке, как женщина оседает, пытается схватиться за полиэтиленовую занавеску... видела как вода, глокая, уходит в отверстие, видела мертвый женский глаз.

Подумала: Чей это глаз? Кажется, мой...

...

В пятницу утром Вероника позвонила своему шефу, всегда элегантно одетому сидящему блондину, и сообщила ему, что не придет сегодня на работу, но обязательно заедет в бюро в субботу и сделает все неотложные дела. Затем поехала в больницу.

К отцу ее пустили только на часок. И то только потому, что ее узнала знакомая по старым материнским делам русская по происхождению медсестра Катя. Катя сказала Веронике: Плох, очень плох. Всю ночь его откачивали. Отойдет скоро.

Посиди с ним, пока врачи не пришли.

Вероника стояла рядом с отцом и гладила его по плечу. Голова его была забинтована, изо рта торчало несколько трубок. Дышал Кротов сухо, неровно. Веронику пугали многочисленные, посверкивающие разноцветными лампочками, реанимационные машины. Она чувствовала — они не спасители отца, а обуза для его старой плоти.

Позже Кротов скончался, не приходя в сознание.

Вероника в это время сидела у себя на кухне и механически жевала черствую горбушку. Ей позвонила больничная менеджерша. Ее голос и интонации показались Веронике нестерпимо вульгарными. До рвоты, до остановки сердца. Она положила трубку и побежала в туалет.

Через час Вероника поехала в город, в похоронное бюро «Три дубовых ветки», год назад похоронившее ее мать, Гунделинде Карловну Кротову, урожденную Вальтер. По дороге плакала, нервно сжимала маленькие сухие кулачки.

Вспоминала о чем-то и безумно улыбалась. Поглаживала живот... Перед входом в бюро привела себя в порядок.

...

Вероника была примерной и любящей дочерью. Два года выхаживала больную мать, которую педантичные немецкие врачи несколько раз бессмысленно оперировали — не потому что надо, а потому что положено. По полной программе отделали старуху и отправили ее умирать домой. После смерти матери взяла к себе в трехкомнатную квартиру немощного отца и как могла нежно и терпеливо ухаживала за ним, не бросая при этом трудоемкую работу в офисе фирмы Альгицит, выпускающей химические средства для борьбы с водорослями в аквариумах.

Вероника не хотела отдавать отца в дом для престарелых — жалела. Знала, что там не будут терпеть его капризов и потихоньку угробят. По ночам она не спала, потому что Николай Петрович постоянно будил ее и требовал кофе, сигарету или просился в туалет — дочь доводила отца до двери и отводила его обратно в постель. На работе Вероника все время тряслась, боялась того, что с отцом что-нибудь случится. Мыла его. Возила по врачам. Возилась со страховками. Писала под диктовку письма его бывшим коллегам. Ходила вместе с ним в русский

магазин.

Однажды ночью Кротов позвал как обычно дочь, и она пришла к нему, заспанная, измученная, в слежавшейся ночной рубашке, пятидесятилетняя девушка на тоненьких кривых ногах, обутой в стоптанные тапочки. Вероника приготовилась вести отца в туалет.

Но он сказал ей, что на сей раз хочет от нее другой помощи...

Вначале она опешила, хотя виду и не подала. Покраснела. Хотела бы свести все к шутке, но посмотрев отцу в его поглубевшие глаза, прочитала в них неожиданную для нее решимость.

Подумала и согласилась.

В конце месяца у нее произошла задержка.